«Долой сахарин!»

Стоит вспомнить, что сама теория «живого человека» возникла в ответ на уклон[2]. Господствовавший в пролетарской литературе штамп все больше, на взгляд многих рапповцев (Л. Авербаха, Ю. Либединского, В. Ермилова, А. Фадеева), отрывался от действительности. На протяжении 1920-х годов литературные персонажи часто определялись ограниченным набором черт. Коммунист всегда должен быть с наганом и в кожаной куртке; капиталист — с брюхом и т. п. Результат — «лакировка действительности». Рапповцы признали, что сразу после революции такое упрощение являлось естественной стадией литературного развития, поскольку читателям тогда нужны были готовые, стройные, одноцветные образцы. Но теперь, в конце первого десятилетия советской власти, такой «сахарин», писал Ермилов, не может удовлетворять требованиям созревшего пролетариата[3]. Он указал на то, чего недостает, одним словом: «че-ло-ве-ка»! Задача создать реалистический портрет сегодняшних рабочих, крестьян, интеллигентов, партийцев была объявлена им «центральной проблемой современной литературы»[4]. Без перемены, без учета новых обстоятельств, читатель отвернется от пролетарской литературы, и она утратит свой авторитет.

Требование «живого человека» и психологизма составили центр новой кампании по преодолению схематизма. На первый взгляд, цель могла показаться простой: заменить трафарет реалистическим изображением человека. По словам Либединского, нужно «показать мир в его сложном противоречивом развитии»[5]. Однако добиться этого, как признавался Фадеев, было делом непростым. Открылись «сложности» и «противоречия» — настоящий ящик Пандоры.

«С нашей точки зрения, — писал Фадеев, — показать живого человека — это значит показать в конечном счете весь исторический процесс общественного движения и развития. И так как отражение общественных процессов в психике каждого отдельного человека происходит не путем прямолинейным, механическим, а здесь происходит чрезвычайно сложный диалектический процесс взаимодействия человека со средой; и так как нужно учитывать, что человек подвергается одновременному воздействию самых различных классов, что находит отражение в его психике; и так как психика человека сама по себе чрезвычайно многообразна, имеет, в частности, и бессознательные импульсы и импульсы сознательные, — если принять все это во внимание, то окажется, что последовательно и правильно показать человека как продукт известной общественной среды — невероятно, дьявольски трудно, и трудно потому, что так человека еще никто не показывал до пролетариата»[6].

Замечания Фадеева объясняют, почему сторонники «живого человека» не закрывали глаза на «темные стороны» советской действительности. Герои не непогрешимы; напротив, они могут ошибаться, колебаться; их иногда могут охватывать сомнения. Все это должно быть показано. Не для того, чтобы умалить достижения, а чтобы раскрыть весь пафос борьбы с «пережитками прошлого в сознании людей». Литература действительно учит только тогда, когда читатель в ней может найти отражение своих внутренних проблем и конфликтов. Упор поэтому был сделан на качество и правильность изображения. Первое зависело от художественной убедительности; второе — от диалектико-материалистического подхода к предмету. Эти два основных критерия означали, что границы допустимого были расширены; однако при условии, что нельзя показывать «недостатки ради недостатков» (это осуждалось как натуралистический уклон). Все должно быть оправдано идеологически и художественно. Высказывание Ермилова демонстрирует, до каких глубин рапповцы были готовы «докопаться» во имя новой доктрины: «Художник хочет выразить идею гниения, разложения, — пусть он выражает *ее*,

именно и *только* ее, но пусть он выражает ее так, чтобы у читателя, у зрителя не осталось ощущения неполноты, недоговоренности, художественной неудовлетворенности»[7].

Оговорки такого рода мало утешили критиков (в том числе и некоторых рапповцев и литфронтовцев), боявшихся, что требование «живого человека» ответит на одну крайность другой крайностью[8]. При открытом признании, что герой может иметь отрицательные черты, а враг положительные, что «гниение» позволено, где же тогда, возражал А. Курелла еще в начале кампании, могут быть проведены границы между хорошим и плохим? как же читатель может отличить друга от врага? «Этот “углубленный психологизм”... поддерживает человеческие слабости вместо того, чтобы с ними бороться»[9]. Курелла не был одинок. Ему вторил Б. Кушнер: нужно разоблачать недостатки и в человеке, и в обществе, однако чрезмерное увлечение психологизмом опасно — оно может «притупить классовое сознание» пролетарского писателя, сделав его «объективным наблюдателем и беспристрастным судьей»[10]. Эту тревогу легко понять: если теория «живого человека» обязывает писателя не «лакировать действительность», если писатель имеет право не скупиться, так сказать, на подробности, тогда есть о чем беспокоиться: неизвестно, куда это увлечение «подробностями» может завести.